

ШКОЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

На излёте хрущёвской оттепели, мне было примерно столько же, сколько отцу в Гражданскую войну. Энергии в тринадцать лет не занимать, и я донимал расспросами родных, записывал песни, которые пели они в молодости, записывал семейные предания, писал запросы в архивы, рылся в книгах.

Помню, приехав на весенние каникулы в Ленинград, я отправился не в музей, не в театр, а в Публичную библиотеку, чтобы почитать книги своего родственника Ивана Алексеевича Шергина.

Ни диплома, ни паспорта у меня не было, но ведь пустили, выдали книжки, и несколько дней я прилежно изучал их, пытаюсь заглянуть в далёкую, забытую отцом вычегодскую жизнь нашей семьи.

И шли, шли ответы на мои бесконечные запросы из архивов. Чаще они были удручающе — сведений о таком-то и таком-то в нашем архиве не имеется — скупыми, но иногда появлялись и проблески. Я выяснил, например, что следственное дело Ивана Алексеевича Шергина не уничтожено, а хранится в архиве Сыктывкарского управления КГБ.

Открытие это имело весьма неожиданные последствия. Я написал в сыктывкарское КГБ, что пишу книгу о И.А. Шергине и хотел бы ознакомиться с делом. И вот — я только закончил тогда девятый класс! — летним вечером возле нашего дома остановился армейский газик, и из него вылезло двое подтянутых мужчин в штатском.

— Коняев здесь живет? — спросил у мамы, которая возилась с клумбами в палисаднике, один из них .

— Здесь... — испуганно глядя на гостей, ответила мать. — Только нет сейчас Михаила Максимовича... Он рыбачить уехал.

— А нам Николай Михайлович требуется... — ответил мужчина.

Если кэгебешники и были смущены моим возрастом, то виду они не подали. Мы сидели в большой комнате и беседовали об Иване Алексеевиче Шергине, вернее, о тех материалах его дела, с которыми таким вот странным образом чекистское начальство решило ознакомить меня, как автора, работающего над книгой о Шергине.

Подтянутые сотрудники КГБ поведали, что Иван Алексеевич был арестован за свои антисоветские статьи (одна из них называлась «Ленин-

ско-коммунистическое самооболванивание»), скончался на этапе, и ставить вопрос о его реабилитации бессмысленно.

Около часа беседовал я с незваными гостями.

Несколько раз заходила в дом мать, чтобы накапать валерьянки.

Потом гости простились и, отказавшись от предложенного чая, сели в газик и уехали. Отец, узнав о неожиданном визите, долго барабанил пальцами по столу, потом посмотрел на меня с каким-то страхом.

Он никогда еще не смотрел на меня так.

Отец действительно не понимал, чего добиваюсь я, играя с теми страшными силами, от которых, по его убеждению, лучше было держаться подальше.

Не просто, очень не просто проникнуть беспокойным умом через железобетонные перекрытия советской идеологии к постижению неблагоприятного происходящего, но по-настоящему мудрым было не это беспокойное искание, а то счастливое безразличие к идеологии, в котором и пребывало тогда большинство граждан СССР.

Это я понимаю сейчас, но все равно не могу принять, как и в те далекие школьные годы. Как не могу принять и того, почему же отец не поддержал меня тогда в моём начинании.

ШЕРГИН

Не зря я так долго пробивал эту командировку на отцовскую Родину. В сыктывкарском архиве ФСБ весь стол оказался завален толстыми папками с делами двух Шергиных и еще троих Коняевых, отправленных на расстрел...

Больше меня интересовал, конечно, Шергин.

Хочу сразу оговориться, что я не могу беспристрастно относиться к его творчеству, а тем более судьбе. Я никогда не представлял Ивана Алексеевича вне себя. Для меня его книги, его жизнь всегда были больше, чем просто книги, чем просто наполненная трагедийным величием судьба.

Ещё с тех весенних каникул, когда я впервые открыл в Публичной библиотеке книги Шергина, я почувствовал, что между нами словно бы протянулись связующие нити.

Ощущение это сложное и очень неоднозначное.

Сейчас мне понятно, что, зарабатывая на хлеб одним и тем же делом, мы стоим в нашей семье как бы по разные стороны огромной эпохи, которая вмещает всю известную мне историю нашей семьи, и переключка тут неизбежна. Но так я понимаю сейчас, а в 1963 году, когда я впервые раскрыл книги Ивана Алексеевича, я просто почувствовал, что они ко мне и обращены.

Это, разумеется, необъяснимо, если воспринимать историю семьи только как однолинейный процесс смены поколений. Но если хотя бы на мгновение допустить, что браки, действительно, совершаются на небесах, если представить, что в своих поступках, какими бы самовольными они ни выглядели, присутствует **предопределение**, то связь моя с Иваном Алексеевичем в пространстве семьи обретёт вполне реальные очертания.

Нет-нет... Я иначе пишу, и судьба моя даже и отдаленно не напоминает судьбу Шергина, но при всем этом общего в нас всё же больше, чем различий...

«Из книги жизни, — писал И.А. Шергин, — я узнал много вещей, но не сделался «лучшим». Когда улыбалась возможность иметь комнатку, обед, мне казалось, что я никогда не сделал бы подлости, но как только изменялись условия к худшему, я каждый раз спотыкался на том же месте! Только путем труда и лишений я понял настоящую жизнь и острее стал чувствовать ложь»...

Это признание — не просто слова, это программа жизни. Невозможность примириться с существующей ложью и подтолкнула Ивана Алексеевича к занятиям литературой.

Ещё в 1906 году он написал несколько очерков, защищая матросов, уволенных с парохода «Соламбула», и с тех пор ходатайскую деятельность почитал не менее важной, чем литературный труд. Вот и в 1912 году, обзаведясь собственным журналом, он тоже встал на защиту. Теперь уже не только отдельных людей, а всего огромного, удивительно богатого и вместе с тем нищего зырянского края.

Иван Алексеевич многое испытал в жизни. И, наверное, он понимал, где нужно промолчать, что полезно не замечать. Но «прогибаться» он не научился. Была в его характере этакая русская поперечность, этакая страсть к обличительству.

В принципе, на обличениях тоже делали (и делают!) неплохие карьеры — нужно только знать: **кого** и **как** обличать. Но Иван Алексеевич к такого рода литераторам не принадлежал.

Сам себя и в своих очерках, и потом, на допросах в НКВД, он называл народником, разумея под этим словом, естественно, не политическое и общественное течение, а именно принадлежность к народу, голосом которого и ощущал себя.

И он всегда помнил, что должен обличать любую несправедливость, совершаемую по отношению к народу, ибо для этого и пришёл в журналистику и литературу.

И обличал. Зачастую даже в ущерб собственным произведениям.

Но вот что поразительно. При всех очевидных промахах, Иван Шергин как-то умудрялся достигать того, чего не достичь самым последовательным повествованием, основательно выстроенным в полном соответствии с замыслом. А, может быть, именно потому и удавалось Ивану Алексеевичу сохранить объективность и трезвый взгляд на действительность, что был он слишком честен для выстраивания концепций, и никогда не жертвовал правдой, даже и теряя ускользающую тенденцию.

Шергину был чужд бюрократический консерватизм, но и ретивые поборники прогресса тоже не вызывали у него симпатии. Более всего возмущало Шергина незнание и нежелание переустроителей знать подлинные интересы народа.

Он едко иронизировал, например, по поводу архангельской библиотеки, призванной, как объявили её устроители, нести свет «в темную народную жизнь». Только вот свет они принесли какой-то странный... В библиотеке можно было найти множество книг и по марксизму, и по магии, но зато не было ни одной брошюры о солении рыбы.

Вот названия статей Ивана Алексеевича Шергина... «Погребение жизненного начала и его гробокопатели»... «Распродажа Архангельской губернии оптом и в розницу с людьми и без оных»... «Мёртвые богатства»... «Столбопромышленники в Сенате»... «Министерский оптимизм»... «Серёговские мученики»... «Обская авантюра»... «Междуведомственная ветрянка»... Даже сейчас, перечитывая эти заголовки, кажется, что взяты они из журнала, издававшегося не сто лет назад, а в нынешние «постперестроечные» годы... Актуальным остается и содержание статей. Словно в волшебном зеркале видишь в них не только тогдашних махинаторов, но и нынешних мошенников из правительства «демократической» России, догадываться о которых Иван Алексеевич, конечно, не мог.

Разумеется, деятельность такого рода и тогда не приветствовалась власть имущими. За статьи «Из столичной жизни» и «Заметки», помещенные в первом номере 1914 года, весь тираж «Вестника севера» был арестован, а его редактор, Иван Алексеевич Шергин, привлечен к уголовной ответственности.

Правда, времена тогда были либеральные, и уже в марте Санкт-Петербургская судебная палата оправдала Ивана Алексеевича и сняла арест с тиража, но цель оказалась достигнута. Издание журнала, потерявшего своих подписчиков, прекратилось.

До революции Иван Алексеевич успел выпустить еще две книги. Урок, преподанный ему, кажется, ничему не научил его. В очерках «Немецкое

насилие», «Моральная поддержка мародерам», «Нефть на Ухте и столбопромышленники» снова обрушивается он на людей, расхищавших богатства северного края...

Все эти годы Шергин жил в Петербурге, снимал комнату на Рождественской улице. Женат он был на немке Марии Густавовне, но своих детей у них не было, и поэтому, наверное, и сблизился он с семьёй сестры — моей бабушки...

Это Иван Алексеевич Шергин помог старшему брату моего отца, Николаю Максимовичу Коняеву, устроиться в Петербурге. Тот работал потом на Путиловском заводе, женился на Елене Ауге, дочери председателя окружного суда. Потом он сошёлся с большевиками и принимал участие в Октябрьском перевороте. В гражданскую войну был командиром в Красной Армии и умер от тифа.

С его сыном, Владимиром Николаевичем Коняевым, моим двоюродным братом, я встречался, когда он работал начальником лесосплавной конторы в городе Яренске. Володя в свободное от работы время писал брошюры по лесосплаву и разводил пчел.

Долгое время перед революцией жила у Ивана Алексеевича Шёргина и моя тетка, Мария Максимовна. С детства она болела гемангиомой — правая сторона лица зарастала причудливой, похожей на перезревший виноград опухолью. В Петербурге Иван Алексеевич показывал племянницу врачам, в Петербурге она и училась...

ТЕТЯ МАНЯ

Сестра моего отца, Мария Максимовна Дьяконова, тоже была удивительным человеком.

Гемангиома, которой страдала она, представляет опасность не столько для жизни больного, сколько для его внешности. Трудно было не содрогнуться, неожиданно увидев обезображенное лицо тети Мани. Но удивительно, что эта болезнь, способная сделать глубоко несчастным даже мужчину, на ее жизни, кажется, и не отразилась. Тетя Маня закончила Институт народов Севера, вернулась в Коми АССР, вышла замуж за Иону Степановича Дьяконова, родила и вырастила — муж её погиб в лагерях — троих дочерей: Женю, Алю и Нину...

Более того, всю свою жизнь тётя Маня была в нашей семье, наверное, самой отзывчивой на чужие просьбы. Я помню, сколько времени потратила она, когда я гостил у неё в Усть-Выми. На попутках, на пароходах, на поездах мы объехали с нею полтора десятка городков и сёл, в которые сам я, наверное, так и не смог бы выбраться.

И самое удивительное — об этом я сужу не только на основе своих ощущений, но и, понаблюдав, как реагировали на тётю Маню другие, — содрогнувшись от ужаса, незнакомый человек буквально через несколько минут забывал о физическом уродстве тети Мани. Было в ней какое-то удивительное обаяние, которым удавалось компенсировать физическое уродство.

Наблюдая в поездках за тетей Маней, поражаясь, как мгновенно умеет она найти контакт с незнакомыми людьми, и начал я понимать, почему и моя мама, и вознесенская бабушка — перед войной тётя Маня приезжала к ним! — запомнили не опухоль на щеке, похожую на перезревший виноград, а те песни, которые пела тётя Маня, собирая грибы...

Конечно, никому из нас и в голову не приходило назвать её жизнь подвигом, но что же тогда подвиг, если не это?

Я не собираюсь приписывать все заслуги в воспитании тети Мани Ивану Алексеевичу Шергину, но — очевидно! — что он оказал немалое влияние на формирование её характера.

В каждой большой семье есть человек, который становится как бы хранителем её, когда семья рассыпается. В нашей семье таким человеком, безусловно, стала тётя Маня. Это она поддерживала отношения

отца и тётки Пани с оставшимися на родине братьями и сёстрами. Это от неё тянулись ниточки в прошлое нашей семьи.

В то прошлое, которое так старательно пытался забыть отец...

ОТЦОВСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ

Моя бабушка по отцу Александра Алексеевна Шергина, принадлежала к тому роду серёговских Шергиных, из которых вышел знаменитый писатель-сказочник Борис Викторович Шергин. Братом бабушки был журналист и писатель Иван Алексеевич Шергин, про которого я уже рассказал.

Про отца бабушки я ничего не знаю, а вот мать её довольно подробно описана в книге Ивана Алексеевича Шергина «Поездка на север».

«Наша мать, была неграмотная крестьянка, жившая весь век в глуши, но сколько прирожденной красоты и ума! Жена моя из образованной немецкой семьи, идеал аккуратности и такта, всегда изумлялась на её ум и выдержку... В деревне я и сейчас на каждом шагу встречаю живые портреты матери. Если интеллигентность есть красота духа, то моя мать была интеллигентка, хотя и неграмотная».

Жили тогда в Серёгово если и не богато, то прочно и основательно. Сеяли хлеб, держали скотину, работали на сользаводе и лесосплаве. Дома строили просторные, семьи были большими. И всё это было по-русски прочно врезано в суровый северный простор.

«Из-за красной громады берега выплывали один за другим длинные плоты бревен. На плотях чернели лодки... Движение плотов, всё усиливаясь, приняло в лёгком сумраке полярной ночи очаровательно-сказочную картину: на реке вспыхивали огоньки, то, пуская струйки дыма, закурится избушка на плоте, скользя по серебристой глади».

Это тоже — из книги Ивана Алексеевича Шергина. Это то, что видел он в молодости, что видела моя бабушка, Александра Алексеевна, когда выходила вечером на берег реки.

Замуж она вышла рано. Избранником её стал служивший урядником Максим Степанович Коняев. Сам он был чистокровным коми, но внешность его, как можно судить по сохранившейся фотографии, мало отличается от внешности тогдашних полицейских из центральной России. Может быть, зырянские черты не очень сильно были выражены в деде, а может быть, национальные отличия съедал полицейский мундир.

Как вспоминал отец, физически дед был рослым, сильным и здоровым человеком. Как и большинство зырян, свободно говорил по-русски и был довольно грамотным человеком*.

Жили молодожены в Серёгово, а потом деда перевели в стоящее на левом берегу Вычегды село Коквицы, то самое старинное зырянское село, в котором и родился в 1889 году знаменитый социолог Питирим Александрович Сорокин.

К сожалению, в памяти отца, который тоже родился в Коквицах, только семнадцать лет спустя, Коквицы вообще не сохранились. Скоро семья переехала на другой берег Вычегды — в село Гам, где много веков назад сжёг святитель Стефан Великопермский главную зырянскую кумирницу, стоявшую посреди заросшей белым ягелем заповедной соеновой рощи.

В Гаме была тогда и почтовая станция, был храм, и церковно-приходская школа, а в 1901 году начались занятия и в новой второклассной школе.

О качестве преподавания в этой школе можно судить по тому же Питириму Сорокину, который стал в дальнейшем профессором Санкт-Петербургского и Гарвардского университетов.

Никаких трений на национальной почве в русско-зырянской семье

* Социолог Питирим Сорокин, утверждал, что по грамотности зыряне (коми) занимали после обрусевших немцев и евреев третье место среди народностей России.

деда никогда не возникало. И зырянский дед, и русская бабушка были православными, а языковых проблем тогда не существовало — и в семье, и на улице свободно говорили и по-коми, и по-русски...

СТЕПАН МАКСИМОВИЧ

В мою первую, в студенческие годы, поездку в Коми АССР, тетя Маня свозила меня в Жешарт, где жил ее брат, а мой дядя, Степан Максимович Коняев. Раньше он сильно выпивал, но однажды, забрел в польню на реке и дал зарок не пить. Ему удалось и из ледяной купели выбраться, и зарок сдержать.

Православные храмы в Жешарте тогда были закрыты, и спасаться Степан Максимович отправился к местным баптистам. И как это часто бывает с людьми, уверовавшими уже в зрелом возрасте, да к тому же попавшими к сектантам, религиозность Степана Максимовича нисколько не напоминала скрытную, но твердую, как кремь, веру тётки Пани, не было в ней и ласковой приветливости тётки Мани.

Угрюмость его протестантизма усиливалась за счет языка. Степан Максимович был женат на чистокровной зырянке Ларисе Петровне, плохо говорившей по-русски, и в разговорах то и дело сбивался на коми язык. В этом дремучем разговоре, я, несмотря на все уроки, взятые перед поездкой у тети Пани, различал только отдельные слова...

Потом я увидел Степана Максимовича в 1972 году, в Ленинграде, куда он приезжал за баптистскими Библиями. Остановился Степан Максимович у отца, и квартира немедленно превратилась в филиал жешартского молитвенного дома. С утра до вечера не стихали здесь проповеди о вреде пьянства и гибели души. И хотя разговоры с отцом велись на русском языке, то и дело возникло явственное ощущение, что ленинградская квартира заполняется баптисткой угрюмостью жешартского дома.

Сами по себе, достаточно правильные и разумные, проповеди Степана Максимовича чрезвычайно раздражали отца. Наверное, раздражал его сам пафос обличения, но отцу казалось, что раздражают декларируемые братом протестантские догматы, агностицизма отца вполне доставало, чтобы не пожелать отделить одно от другого.

Встреча братьев закончилась тогда полным крахом. Отец вдруг внезапно засобирался и уехал в Вознесенье, не дожидаясь отъезда брата. Степан Максимович — его ещё держали дела — несколько дней ходил непривычно молчаливый, задумчивый. Видно было, что он переживает. Таким вот задумчивым и чуть-чуть растерянным он и простился с нами.

Мы еще не знали, что это последняя встреча братьев... Через несколько недель из Жешарта пришла посылка. Там лежала старинная Библия и записка: «Миша! Вот Книга, которую читал твой отец. Степа».

И потом, когда я видел отца, склонившегося над Библией моего деда, каждый раз вспоминал, как пытались встретиться и не встретились братья... Ведь, разумеется, не баптизм Степана Максимовича стал препятствием для этого. И не агностицизм, который с удовольствием декларировал перед братом отец, а его нежелание вспоминать прошлое, свою позабытую родину.

И Степан Максимовича, хотя, может быть, он и не сознавал этого, волновало не столько пьянство отца, сколько его сознательное, маскирующееся под агностицизм беспамятство. Сам Степан Максимович всё помнил, но помнил как-то ожесточенно, ничего не прощая и не забывая.

Ну, а меня поражало: как далеко разошлись жизни родных братьев.

В словно бы пропитанном угрюмой баптистской религиозностью доме Степана Максимовича, я ощущал себя совершенно чужим, но одновременно не умом, а душой, всем телом ощущал я, что это тоже часть жизни нашей семьи... Той жизни, которая могла быть и моей, если бы иначе сложились обстоятельства.

И хотя эта жизнь и казалась мне угрюмой, всё равно я не мог отделаться от острого сожаления, что я совсем чужой в ней... И ещё я понимал,

что не только страх, вкраившийся, может, и в подсознание, мешал отцу вспоминать своё детство, а прежде всего вот это ощущение утраты...

НОЧЬ БЕСПАМЯТСТВА

Работая в сыктывкарском архиве ФСБ с делами своих репрессированных родственников, я постоянно ловил себя на мысли, что самое страшное в советской истории — это история семей.

Страх тут не только в трагизме судеб погибшей в лагерях, замученной на допросах родни, не только в жестокости судебных, доставшихся их женам и детям, страх этот иррационален. Читая дела, я буквально ощущал страшное тёмное пятно, что расплывалось в памяти семьи, поглощая, вбирая в себя и сами жизни, и сами судьбы.

Это очень страшные слова — лагерная пыль... Но разве не страшнее их — ночь беспамятства, навечно спускающаяся в души людей, непроницаемой стеной разделяющая поколения?

Жестокость, насилие — это черты, присущие бесовству, овладевшему душами людей. Однако само бесовство, быть может, и заключается в том ночном лабиринте, по которому вынужден, поколение за поколением, брести народ без всякой надежды выбраться на Божий свет.

ПЕРВЫЙ СРОК

На свой первый срок при советской власти Иван Алексеевич Шергин пошел в 1919 году, когда в газете «Петроградская правда» появилась его статья «Коквицкие коммунисты».

В ночь на 16 января 1919 года в Коквицах — селе, где родился мой отец, разыгралась трагедия. В ходе реквизиции продуктов и самогонки, партиячейка решила заодно расстрелять неудобных односельчан. «Пока Окулов ходил за патронами, «коммунисты» добились Першукова штыками... А Василий Васильевич Порсюрлов замёрз с пальцами, сложенными в крестное знамение.

Мерзлые трупы сложили в амбар Ганова...

После расстрела «коммунисты» возвратились в деревню, потребовали хлеба, масла, молока. Десять фунтов масла растопили в печке и макали кусками хлеба.

В избе расстрелянного Ганова особенно весело пировали...»

Прошедшее ошеломило Ивана Алексеевича. Ведь все эти расстрелянные коммунистами Першуковы, Порсюрловы, Гановы были не просто хорошо знакомы ему, вместе со своими братьями и сестрами, отцами и матерями, женами и детьми они населяли страницы его книг.

Иван Алексеевич говорил тогда, что это его расстреляли в Коквицах... Это, разумеется, гипербола, но состояние самого Шергина она передает достаточно точно.

Коквицкие разоблачения дорого стоили Шергину. Хотя руководитель яренских большевиков П.И. Покровский и говорил на губернской партконференции, что, дескать, если вы, собравшиеся здесь — коммунисты, то у вас не найдется слова осуждения для коквицких товарищей, дело всё-таки было передано на рассмотрение губтрибунала, и виновников расправы осудили на принудительные работы... условно.

Иван Алексеевич Шергин тоже фигурировал на этом суде, но не в качестве свидетеля, а как... обвиняемый. За антисоветскую агитацию он получил три месяца заключения. Только уже не условно, а по настоящему.

Кажется, что три месяца — не такой уж и большой срок. Но шел девятнадцатый год, все жарче разгоралась Гражданская война, и отсидеть тогда в тюрьме три месяца удавалось не каждому...

«Дни ползут, как вши — один за другим. Каждую ночь одна и та же процедура отбора жертв на убой. Ожидание становится совершенно невыносимым... Было бы легче пойти и встретить смерть, чем медленно умирать день ото дня. Это очень трудно даже для самых храбрых людей».

Это — не Шергин, это — знаменитый Питирим Александрович Сорокин, сидевший тогда же в Великоустюжской тюрьме вместе с И.А. Шергиным.

Да... Три месяца такого ожидания — срок немалый.

Тогда, в девятнадцатом году, больше и не давали*.

ПРОДОЛЖЕНИЕ «КОКВИЦКИХ КОММУНИСТОВ»

Отец не любил вспоминать про Гражданскую войну, а если и вспоминал, то совсем уж странно. Например, рассказывал он, как однажды ночью проснулся от стрекота и подумал, что мать шьёт ему на день рождения рубашку. И только утром, когда село Гам заняли белые, понял — это не швейная машинка стрекотала ночью, а пулемёты...

А однажды собирались они с отцом в баню, а дорогу перейти не могли, по дороге, бесконечные, двигались обозы.

— Ну и что? — спрашивал я.

— Так ничего... — отвечал отец. — Только к ночи и помылись в бане, когда она уже выстыла вся.

— Папа... А село-то кто занимал?

— Красные вернулись...

И вот теперь, работая в архиве ФСБ, мне удалось не только пополнить эти рассказы, но и понять, почему отец не хотел или не мог вспомнить подробности...

Особому Вычегодскому добровольческому отряду под командованием капитана Н.П. Орлова без особого труда удалось еще в сентябре 1919 года освободить Удорский край от красных, и в конце октября белые разъезды появились на нижней Вычегде. Колокольным звоном встречало добровольцев Айкино.

3 ноября — это тогда мой отец, которому через несколько дней должно было исполниться одиннадцать лет, проснулся ночью от стрекота пулеметов и подумал, что мать шьет на день рождения рубашку, — отряды Н.П. Орлова разгромили красных у села Гам и 6 ноября взяли Яренск.

Видимо, эти дни и могли бы оказаться последними днями жизни Ивана Алексеевича Шергина, поскольку перед отступлением чекисты не скупилась на высшую меру социальной защиты, но, к счастью, срок заключения Ивана Алексеевича Шергина закончился еще до начала наступления белых, и он успел освободиться.

Из Яренска добровольческий отряд Орлова двинулся вверх по Вычегде. Красноармейцы, набранные из местных крестьян, поголовно переходили на их сторону без боя.

13 ноября Н.П. Орлова встречали в Усть-Выми. 15 ноября его отряды заняли Усть-Сысольск.

Тем не менее вычегодский рейд Орлова историки справедливо называют авантюрой, потому что никакой действенной поддержки ему архангельское правительство не оказало, да, впрочем, и не имело возможности оказать. Регулярным же частям Красной Армии добровольческий корпус в силу своей малочисленности противостоять не мог.

В конце ноября красноармейские части вошли в Яренск.

2 декабря — это когда отец до ночи не мог попасть в баню, поскольку дорогу преграждали проходящие мимо военные части — в села Гам и Айкино.

Меньше трёх недель продержались орловцы на нижней Вычегде. Эти три недели стоили самому капитану жизни. Он погиб в первых числах декабря, остальные добровольцы ушли на Удору и держались там до начала 1920 года. Все сдавшиеся в плен офицеры были расстреляны.

* Интересно, что тогда, в 1919 году, круто надломилась судьба и другого Шергина — Бориса Викторовича. Он был отправлен на принудительные работы, где и остался без ноги и пальцев.

Иван Алексеевич Шергин написал статью о рейле капитана Орлова. Статья эта продолжала статью «Коквицкие коммунисты».

Можно понять чувства, которые руководили капитаном Орловым, когда он отдавал приказ о розыске руководителей коквицкой трагедии... Но ни сил, ни времени на надеждающий розыск у него не было, и вот в Усть-Выми белогвардейцы расстреляли шестнадцать коквицких коммунаров, еще девятых — в селе Оквад.

«Точно святое небо послало казнь за невинную кровь! — горько иронизировал в своей статье, написанной 14 января 1921 года, Иван Алексеевич Шергин. — Но небо допустило промашку, виновники, организаторы расстрела опять ускользнули и теперь снова осуществляют исполнительные функции советской власти».

Желая покарать палачей, белогвардейцы расстреляли невинных.

Но и это еще не финал коквицкой истории.

Вернувшиеся большевики немедленно предприняли розыск виновных в гибели коммунаров и арестовали всех родственников убитых в ночь на 16 января 1919 года крестьян. И опять-таки мыслили они вполне логично, полагая, что именно родственники и должны были мстить убийцам. И какое имело значение, что одни из арестованных вообще отсутствовали в то время в деревне, а другие, как, например, Иван Яковлевич Козлов, во время орловского набега сами прятали коммунистов. Конечно, были арестованы и те, кто действительно указывал белогвардейцам на коммунаров, но что могла изменить казнь их?

«Справедливей... — писал в своей статье Иван Алексеевич, — было бы поставить на могиле Нижне-Коквицкого расстрела крест помилования...»

Статья И.А. Шергина о продолжении коквицкой истории так и осталась не напечатанной, и я цитирую ее по копии, заверенной уполномоченным I отд. КОО ОГПУ и вшитой в дело Ивана Алексеевича Шергина. Уже тогда, в 1921 году, за Шергиным был установлен надзор, и письма его подвергались перлюстрации.

Но не напрасно, не напрасно Иван Алексеевич писал ее.

Мне эта статья многое помогла понять и в том числе и в воспоминаниях отца.

ДОНОС ИЗ 1925 ГОДА

Десятки пухлых и тощих папок, хранящихся в сыктывкарском архиве, впитали в себя кровь моих зырянских родственников и сами их жизни...

Вот написанный на грязном, измятом клочке бумаги рапорт:

«Совершенно секретно. Уполномоченному оботдела ГПУ по Усть-Вымскому уезду.

В доме бывшего урядника контрреволюционера, где и собирался кружок евангелистов, гражданина Гамской волости и села Коняева Максима Степановича живет уже около полутора месяцев какой-то тайный адвокат, старик с постриженной седой бородой. По слухам выясняется, будто бы из Серегово — Шергин Иван Алексеевич, который ведет какую-то тайную работу, разъезжая по волостям, собирает всякие сведения, критикуя власть, а особенно коммунистов.

Кроме того, замечается: устраиваются тайные совещания-сборища в доме гр-на Коняева Максима Степановича, которые посещают самые вредные и опасные элементы, как для советской власти, так же для коммунистов, как-то:

1. Козлов Иван Иванович, исключенный член из рядов РКП(б)
2. Отев Василий Николаевич, бывший нарсудья, исключенный член из рядов РКП(б)
3. Коняев Семен Алексеевич — анархист-эсер.
4. Туркина Клавдия Александровна — акушерка Гамского участка, дочь кулака, бывшего купца-торговца.

Таковые являются замечены только в эти дни, но приняты меры следить за движением дела, о чем будет информировано.

14.3.1925.

Внештатный информатор Матвеев»

И замирает сердце, когда нечаянно заглядываешь в тот мартовский день... Ведь «бывший урядник-контрреволюционер» — это мой дед, Кожнев Максим Степанович, а «старик с постриженной седой бородкой» — скрывающийся в бегах от ГПУ Иван Алексеевич Шергин. И где-то там, в доме, не удостоенный внештатным информатором упоминания из-за юного — ему тогда было шестнадцать лет — возраста, отец...

Он слушает, не может не слышать разговоры отца, по прежней своей должности полицейского урядника навечно записанного в контрреволюционеры, дяди — «бывшего при царизме адвоката и писателя» (я цитирую здесь выписку из протокола закрытого собрания Гамской партийчейки), и двоюродного брата — анархиста-эсера, и исключенных «членов из рядов РКП(б)»...

Люди собрались неглупые, довольно образованные, немало повидавшие на своем веку. Национальности у них — здесь сидят и русские, и коми-зыряне — разные, но это не имеет никакого значения. Они — в одной семье, а главное — в одной беде. И тянутся, тянутся бесконечные разговоры о новостях, которые день ото дня всё чернее, о нищете, о надвигающемся голоде и, конечно же, об извечно-русском «что делать?», и о новом, коми-национальном, об этих мыслях, привезённых из Сыктывкара... И хотя никто из собравшихся не знает, что именно в эти минуты — «Установить тайный политнадзор, вменив всем членам РКП(б) зорко следить за указанными лицами и доносить срочно в ячейку» — пишется постановление, но безнадежностью и тоскою веет от разговоров...

Читаешь это, и начинаешь понимать, почему не хотел отец вспоминать покинутую Родину, почему стремился он позабыть всё, что осталось там.

И еще... Листая пухлые тома дел, не раз ловил я себя на том, что испытываю — как это ни кошунственно звучит! — даже некую признательность сотрудникам ГПУ-НКВД, ведь это благодаря их поистине титаническому труду и удалось заглянуть в затянутое неразличимой тьмой беспамятства прошлое семьи. Читая эти дела, я узнавал имена родственников, про которых никогда и ничего не слышал, различал их голоса.

Мысль эта очень страшная, но как бы дико она ни звучала — метаморфоза палачей-летописцев несет и некий высший смысл. Ведь органы создавались не только для того, чтобы уничтожить недовольных советской властью. Нет, планировалось уничтожить саму память людей — и семейную, и историческую. Народ должен был погрузиться в беспамятство, блуждая по которому, разучился бы различать добро и зло, свет и тьму...

Сатанинский замысел этот почти удалось осуществить. Муж моей двоюродной сестры Али (дочка тети Мани) рассказывал мне о своем отце Илье Николаевиче Шергине, прожившем всю жизнь в Серёгове с поговоркой: «Опасение — половина спасения». «Ешь пирог с грибами и держи язык за зубами», — говорил он, и все разговоры сводил к погоде да рыбалке. И разве он один был такой?

Мой отец так не говорил. Он просто старательно пытался забыть то, что было в прежней жизни...

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

А статью Ивана Алексеевича Шергина «Ленинско-коммунистическое самообольвание», про которую мне рассказали в 1963 году сотрудники КГБ, приехавшие в Вознесенье, я нашел в «Деле».

1.

Сюда же были подшиты — двенадцать томов! — и другие сочинения Ивана Алексеевича. Долгими зимними вечерами писал их Иван Алексеевич, укладывая в строчки свои мысли, свою боль, свой гнев, свою иронию. Потом клеил самодельный конверт и вёз письма в Усть-Вымь, на почту. Покупал марку и сдавал пакет.

Работник почты улыбался ему и откладывал пакет в сторону, для Осипова. Тот приходил и уносил письмо в свой кабинет, доставал папку с делом Шергина и вшивал письмо туда. Скорее всего, он даже не читал их, потому что Шергина столько лет не трогали. Но ведь это еще страшнее. Человек говорит, и в ответ он обязательно должен что-то услышать. Даже если не соглашаются с ним, даже если грубо, с руганью, обрывают. Это тоже ответ. Страшнее, когда тебе вообще не отвечают. Когда ты говоришь, и тебя не слышат. Говорят, что в одиночных камерах заключенные сходят с ума, перестают понимать, кто они...

Наверное, Иван Алексеевич тоже сходил с ума.

Тяжелый снег лежал на земле, пусто и холодно вокруг, и только одно, посреди бескрайней ночи, светится окно — в доме у Шергиных. Над столом, над листом бумаги склонился Иван Алексеевич, и все быстрее, все неразборчивей бегут строки, и вот, я, читающий эти письма спустя семьдесят лет, ничего не могу разобрать в путанице скорописи... Так неужели стали бы разбирать эти закорючки чиновники, на столы которых должны были лечь эти письма? Или — страшно и ужасно думать об этом! — и сам Иван Алексеевич понимал, что никто не будет читать его, потому что письма здесь и останутся и никуда не уйдут, хоть и купит он положенную марку.

2.

Я уже говорил, что ещё в школе, когда первый раз начал читать в Публичной библиотеке книги Ивана Алексеевича Шергина, во мне возникло странное ощущение, будто эти книги для меня и написаны. И вот теперь, перелистывая посеревшие, как затаившийся в глубокой чаще снег, листки, я ловил себя на мысли, что не испытываю никакого волнения, хотя ровно тридцать лет добивался возможности взглянуть на них, хотя ведь получается, что для меня и писались эти письма — вряд ли кто-то еще заинтересуется ими...

Так откуда же равнодушие, что же случилось?..

Нет, виною этому не Иван Алексеевич Шергин, не его скоропись, не нагромождение цифр. В бумагах Ивана Алексеевича множество интереснейших эпизодов, глубоких мыслей, порою улыбаешься, порою хочется заплакать. И наверняка из этих пухлых папок можно было бы составить вполне приличную книгу, честно рассказывающую, что происходило тогда на берегах Вычегды. И едва ли причина равнодушия скрыта во мне, мне порою кажется, что я ничуть и не изменился со школьных лет.

По-видимому, дело — в другом.

Когда я читал первый раз книги Шергина, мы, даже и разделенные тридцатыми годами и войной, всё еще находились в одной эпохе. Теперь — уже в разных...

Мы, живущие сейчас, еще не осознали этого, но это так. А не осознали, потому что и невозможно осознать такое, бродя в лабиринтах беспамятства...

3.

«В июне месяце 1929 года, — рассказывал Шергин на допросе, — я ездил в Москву с книгой «Самоедская жизнь» с целью напечатания ее в Госиздате, но книгу взял назад для переписки и обработки... Остановившись там в Коми представительстве, ходил в Госиздат, в издательство «Крестьянской газеты». В иностранные консульства не заходил и, прожив в Москве три дня, выехал на родину в село Серегово».

Фактологически тут все правильно, но кое о чем Иван Алексеевич умалчивает. Изъятая при обыске рукопись книги «Самоедская жизнь» частично сохранилась в деле, и по этим кускам можно судить, какое изумление она должна была вызвать у сотрудника издательства, взявшегося ознакомиться с ней. Такое тогда не только не печатали, но уже и не носили в издательства. Даже бегло перелистав книгу, сотрудник издательства понял, что перед ним стоит тот самый затаившийся классовый враг, о котором вовсю трубили в газетах. И только порядочностью этого сотрудника издательства объясняется, что он не позвонил в ГПУ, а просто вернул рукопись для «обработки».

Но Иван Алексеевич или не понимал этого, или не захотел понять. То, что читал он в газетах и журналах, и то, что видел своими глазами, было противоположно, и, боясь поверить, что с точки зрения властей так и должно быть, он вспыхнул вдруг гневом против писателей и журналистов, решил объяснить им, что происходит на самом деле.

Вернувшись из Москвы, он пишет свое письмо во Всероссийский Союз писателей...

«Нападение социализма на остатки капитализма в процессе движения; принудительный труд и голод — вот несомненные достижения, явившиеся результатом бесславной практики...» — начинает он свою проповедь.

Объем письма — более авторского листа* — очень велик, и привести его полностью невозможно, но пересказать нужно.

Шергин пишет о том, что в деревне сейчас проводятся самые утонченные приемы разъединения крестьянской массы, культивируется зависть и мстительность, беднота поднимается не только на кулаков, но и на тех крестьян, у кого есть хлеб.

«Зарево вражды разгорается над деревней»...

Не лучше приходится и рабочим. Запрещение свободной хлебной торговли ведет к росту спекулятивных цен, обрекая рабочих на постоянное голодание. Но именно этого — очень точная мысль! — и добиваются власти. Посажённый на карточки служащий и рабочий преданно служит ей, боясь потерять право на карточку, и одновременно натравливается на крестьянство.

«Ленинские рыцари с козлиной отвагой разрывают союз рабочих и крестьян...»

Все это аргументировано у Шергина цифрами, фактами...

Страшные картины рисует он на страницах своего, адресованного советским писателям послания....

«В июле 1929 года Соввласть перевозила десятки тысяч преступников (тут Шергин неточен, счет шел уже на сотни тысяч — Н.К.), из коих подавляющее большинство крестьяне, вынужденные советским активом бедноты на самозащиту. Мимо села Серегово гнали с Украины партии босой, грязной и оборванной пестряди по 500 человек на постройку Ухтинской дороги... Продовольствия выдавали 300 граммов хлеба в день на человека, а конвоиры, получавшие в пять раз больше хлеба, мясо и масло, в дополнение к мукам голода оправаляли отставших прикладами винтовок... Недалеко от села Княжпогост арестованные работали в болоте босиком с опухшими ногами от наростов и коросты. Под угрозой сабли и револьвера...

Бегство по лесам босиком и без хлеба не так хорошо, но все же бегство давало кое-какие надежды... И арестованные... бежали, омрачая северные деревни злодействами, а навстречу беглецам гнали новые партии советских преступников, коих вырабатывала диктатура пролетариата, так что тюрьмы и лагеря не вмещали.

Начиная от Архангельска по Беломорскому побережью и островам, по Мезанским и Печорским трупам томятся сотни тысяч жертв большевистского омрачения...»

* Сорок тысяч знаков.

Очень подробно доказывает И.А.Шергин, что экономически строительство дороги на Ухту не оправдывает даже содержания охраны, и поэтому одежда и обувь для заключенных недоступна.

За каждого выловленного беглеца выплачивали 10 рублей, и поимка арестантов начала превращаться в промысел. Поиманных тут же на месте расстреливали.

«Вся полоса Ухтинской дороги облита кровью и омрачена злодействами»...

«Большевики боятся света обличения, как нагой огня, большевики дают свободу слова и в то же время водят по деревьям партии связанных веревками заключенных. В деревне Кошки для устрашения выстроена тюрьма, где заключенные получают полфунта хлеба в день. На Ухтинской дороге концентрируется нажим понуждения, входящего в практику по всему северу, по всему Союзу ССР. Здесь осуществляется «реконструкция человеческого материала», о которой отблаговестил Пред. Совнаркома Сырцов на 1-й Нижегородской краевой болтовне...»

Немалое место в письме уделено и работе Котласского ОГПУ, но главное, Шергин делает и прогноз на будущее:

«Невзирая на усиленную вытяжку достижений высококвалифицированными болтунами, как Горький, раздувающими широкие размахи пятилетки, в 29-30 году СССР скатится к неизбежно окончательному краху».

Завершая послание, И.А. Шергин писал:

«Розовые туманы иллюзии, самовосхваление на фоне все ожесточающейся борьбы с крестьянством дают поучение буржуазно-демократической идеологии, а затруднения последней хлебозаготовки 29-30 г., обусловленные противодействием крестьян, выбросят новые десятки тысяч жертв взамен похороненных на Ухтинских истязаниях, о коих и представим мы живые иллюстрации в следующей статье»...

Розовые туманы иллюзии отчасти были свойственны и самому Ивану Алексеевичу Шергину — к письму его сделана приписка: «Если ВСП (Всероссийский Союз писателей — Н.К.) примет эту статью и оплатит, то вышлю немедленно следующую».

Гонорар Ивану Алексеевичу заплатили и довольно скоро.

4.

Письмо во Всероссийский Союз писателей Иван Алексеевич отправил в конце сентября из Архангельска, куда ездил повидаться с сестрой. Письмо благополучно дошло до адресата, и из Союза писателей было передано в ОГПУ, где к нему тоже отнеслись с интересом и вниманием.

Уже 23 ноября 1929 года в Усть-Сысольск ушла из Москвы директива на бланке секретного отдела Объединенного Государственного Политического управления при Совнаркоме СССР:

«Совершенно секретно. Срочно.

г. Усть-Сысольск.

Начальнику Коми-зырянского облотдела ОГПУ.

Копия — Архангельск, ППОГПУ Сев. края.

Препровождаем полученное нами контр-революционное письмо Шергина И.А., адресованное им во Всероссийский Союз Писателей.

По-видимому, письмо составлено в нескольких экземплярах и, возможно, направлено и по другим адресам.

В своем письме Шергин пишет, что у него имеются еще подобные материалы.

Просим обыскать ШЕРГИНА, изъять у него материалы, арестовать его и дело прислать на Особое Совецание.

Прилагаемое письмо можно использовать в качестве следственного материала.

О результатах сообщите в СООГПУ.

Приложение: упомянутое.

Начальник Секретного отдела ОГПУ
АГРАНОВ»

Гонорар, что и говорить, можно считать царским...

Имя человека, поставившего подпись под приказом обыскать и арестовать Ивана Алексеевича Шергина, окутано ужасом и кровью.

Яков Саулович Агранов (подлинное имя — Янкель Сорендзон) родился в 1883 году в черте оседлости Белоруссии. В ВЧК он начал работать с 1919 года. Это он вел дело о «контрреволюционной организации профессора Таганцева», по которому было расстреляно 88 человек и в их числе поэт Николай Гумилев.

По личному указанию этого всемогущего палача-руссофоба, занявшего кресло заместителя министра госбезопасности, и был арестован Иван Алексеевич Шергин.

5.

И снова местные чекисты, опасаясь, по-видимому обвинения, что так долго не давали хода изъятым материалам, постарались заволыннить дело.

Между тем в Москве о Шергине не забыли. О том, что директива Агранова сохраняет силу, свидетельствовали грозные напоминания, летевшие из Москвы в Усть-Сысольск:

«Начальнику КОМИ обл. отдела ОГПУ. Следственное дело на Шергина на рассмотрение особого Сопещения при коллегии ОГПУ высылайте через СО ПП ОГПУ Севкрая, с приложением фотокарточки Шергина в 3-х экз. и справки врача о состоянии его здоровья.

ВрИД Нач. СО ПП Ермолаев».

«Просим сообщить, что предпринято вами в отношении Шергина И.А., о котором мы писали нашим № 250696 от 23 ноября 1929. Несмотря на полуторамесячный срок мы до сих пор не имеем от вас никаких сообщений».

Нач. 5 отдела СО Гельфер».

В конце концов, товарищ Витол, возглавлявший тогда Коми областной отдел ОГПУ, нашел подходящий выход. В ответ на напоминание Гельфера товарищ Витол послал телеграмму, подобной которой мне ни разу не доводилось встречать ни в следственных делах, ни в литературе:

«Усть-Сысольск. 19/1, 393. Высылку требуется триста рублей денег нет переведите указанную сумму 1243= Витол».

Наверное, необходимые для ареста «врага народа» Ивана Алексеевича Шергина триста рублей можно было найти и в Усть-Сысольске. Однако Витол верно рассчитал, что лучше взвалить эту заботу на плечи товарища Гельфера, и расчет его оказался верным. Более напоминаний из Москвы, как, впрочем, и денег, не поступало.

Тем не менее, с самими Шергиными товарищ Витол решил разобраться до конца.

«Шергина И.А., Шергина П.А. выслать через ПП ОГПУ в Северный край сроком на три года, считая срок с 31 декабря 1929 года.

Дело сдать в архив».

Шестидесятичетырехлетний Иван Алексеевич погиб на этапе подобно тем крестьянам-кулакам, пригнанным на строительство Ухтинской дороги, про которых он писал. Ну, а его, Павел Алексеевич, у которого жил Иван Алексеевич, добрёл-таки до лагеря, чтобы погибнуть уже там...